

Джон Ле Карре

**ГОЛУБИНЫЙ
ТУННЕЛЬ**

John Le Carré

THE PIGEON

TUNNEL: Stories
from My Life

Джон Ле Карре

ГОЛУБИНЫЙ ТУННЕЛЬ

Истории
из моей жизни

*Перевод с английского
Любови Трониной*



издательство АСТ
Москва

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44
Л33

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Ле Карре, Джон

Л33 Голубиный туннель. Истории из моей жизни / ДЖОН ЛЕ КАРРЕ; пер. с англ.
Л. ТРОНИНОЙ. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2018. — 368 с. (Разведкорпус).

ISBN 978-5-17-100470-5

Это не автобиография, а коллаж из воспоминаний, мастерски составленный корифеем детективного жанра. Джон Ле Карре в “Голубином туннеле” рассказывает не историю своей жизни, а истории из своей жизни, и их у него немало. Германия начала шестидесятых, Россия начала девяностых, беседы с Маргарет Тэтчер и Ясиром Арафатом, попытки работать со Стэнли Кубриком и Фрэнсисом Фордом Coppолой, встречи со знаменитыми разведчиками и шпионами и воспоминания о родителях — об ушедшей из семьи матери и об авантюристе-отце.

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-100470-5

- © David Cornwell, 2016
- © Л. Тронина, перевод на русский язык, 2018
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
- © ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®

Оглавление

<i>Предисловие</i>	7
Вступление	9
Глава 1 К своей спецслужбе относись по-людски	23
Глава 2 Законы доктора Глобке	37
Глава 3 Официальный визит	48
Глава 4 Рука на кнопке	51
Глава 5 Всем заинтересованным лицам	58
Глава 6 Жернова британского правосудия	62
Глава 7 Перебежчик Иван Серов	64
Глава 8 Наследие	71
Глава 9 Невинный Мурат Курназ	81
Глава 10 В полевых условиях	87
Глава 11 Как я столкнулся с Джерри Уэстерби	97
Глава 12 Одиночество во Вьентьяне	101
Глава 13 Театр жизни: танцы с Арафатом	106
Глава 14 Театр жизни: вилла Бригитты	119
Глава 15 Театр жизни: вопрос вины	126

Глава 16	Театр жизни: нежности	130
Глава 17	Советский рыцарь гибнет в своих доспехах	137
Глава 18	Дикий Восток: Москва 1993-го	151
Глава 19	Кровь и сокровища	164
Глава 20	Самые крупные медведи в садке	174
Глава 21	Среди ингушей	187
Глава 22	Премия Иосифу Бродскому	192
Глава 23	Некомпетентное мнение	195
Глава 24	Сторож брату своему	208
Глава 25	Quel Rapam!	223
Глава 26	Под прикрытием	235
Глава 27	Охота на военачальников	239
Глава 28	Я нужен Ричарду Бёртону	253
Глава 29	Алек Гиннесс	268
Глава 30	Пропавшие шедевры	274
Глава 31	Галстук Бернара Пиво	287
Глава 32	Обед с узниками	294
Глава 33	Сын отца автора	300
Глава 34	Реджи — с благодарностью	343
Глава 35	Самый нужный человек	345
Глава 36	Кредитка Стивена Спендера	357
Глава 37	Совет начинающему писателю	359
Глава 38	Последняя государственная тайна	360
	<i>Источники</i>	365

Предисловие

Почти каждая моя книга когда-нибудь да называлась “Голубиный туннель” — в рабочем варианте. Откуда взялось это название, объяснить нетрудно. Как-то, в очередной раз отправляясь в Монте-Карло просаживать деньги, отец решил взять меня, подростка, с собой. Рядом со старым казино располагался спортивный клуб, на границе его территории, на морском берегу, лужайка, и на ней — стрельбище. А пониже лужайки к самой кромке моря параллельными рядами уходили туннельчики. В них помещали живых голубей, вылупившихся из яйца на крыше казино и там же попавших в ловушку. Делать они должны были вот что: в кромешной тьме, трепеща, пробираться к выходу из туннеля, чтобы взмыть в средиземноморское небо и стать мишенью для желавших развлечься после хорошего обеда джентльменов, которые стояли или лежали тут же с двустволками наготове. Если стрелок промахивался или только подстреливал голубя, тот поступал, как всякий обычный голубь. Возвращался туда, где появился на свет и где его поджидали все те же ловушки.

Почему этот образ оказался столь навязчивым, читатель, может быть, рассудит лучше меня.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ, *январь 2016 года*

Вступление

С ижу за столом в цоколе маленького швейцарского шале (я построил его на гонорары за “Шпиона, пришедшего с холода”) в горной деревне в полутора часах поездом до Берна, куда в шестнадцать лет я сбежал из английской частной школы, чтобы поступить в Бернский университет. По выходным мы, студенты, мальчишки и девчонки, в основном бернцы, большой оравой устремились в Оберланд — ночевать в горных хижинах и кататься на лыжах до упаду. Насколько я могу судить, все мы были воплощением добродетели: мальчишки в одной стороне, девчонки в другой и по двое никогда не сходились. А если кто и сошелся, меня среди них не было.

Шале стоит над деревней. Из своего окна, если смотрю в самую вышину, вижу верхушки пиков Эйгер, Мёнх и Юнгфрау и те, что прекраснее всех, — Зильберхорн, а уступом ниже — Малый Зильберхорн: два прелестных ледяных конуса, что время от времени, когда приходит теплый южный ветер под названием фён, тускнеют, но лишь затем, чтоб через несколько дней вновь предстать в своем белоснежном, свадебном убранстве.

В числе наших святых-покровителей вездесущий композитор Мендельсон — маршрут прогулки Мендельсона отмечен особыми указателями, а также поэт Гёте, хотя он, кажется, добрался только до водопадов Лаутербруннена, и поэт Байрон,

который добрался до самого Венгернальпа и невзлюбил его — заявил, что при виде наших истерзанных бурями лесов “вспоминает себя самого и свою семью”.

Но больше всех мы, несомненно, чтим другого святого-покровителя — некоего Эрнста Герча, который принес нашей деревне славу и достаток, учредив в 1930 году Лауберхорнские гонки, и сам же выиграл в соревновании по слалому. Однажды и я решил принять участие в этих гонках — совсем сдурел! — и непрофессионализм вкупе с диким страхом, как и следовало ожидать, привели меня к полному провалу. Мои изыскания показали, что, став отцом лыжных гонок, Эрнст не успокоился, но пошел дальше и придумал стальной кант для лыж и стальные платформы для креплений, и за это мы все можем сказать ему спасибо.

На дворе май, так что мы за неделю все времена года перевидали: вчера выпало полметра свежего снега, только радоваться было некому — лыжников-то нет; сегодня беспрепятственно палит солнце, и снег почти совсем исчез, а весенние цветы опять пошли в рост. Теперь же спустился вечер, и свинцовые тучи готовятся к наступлению на долину Лаутербруннен, словно наполеоновская *Grande Armée**.

По их следам, вероятно, а может, потому что уж несколько дней не навещал нас (а мы и рады были), вернется фён и обесцветит небо, леса, луга, и домик мой станет скрипеть и трепыхаться, а дым — выползает из камина и стелиться по ковру, который мы однажды, в дождливый день бесснежной зимы какого-то там года, купили втридорога в Интерлакене; и всякий звук, доносящийся из долины — брякнет что-то, загудит клаксон, — будет раздаваться сердитым протестующим возгласом, а птицам придется сидеть в гнезде, под домашним арестом, — всем, кроме галок: им никто не указ. Когда дует фён, не садись за руль, не предлагай руку и сердце. Если болит голова или руки чешутся прикончить соседа, будь спокоен. Это не похмелье, это фён.

* Великая армия (фр.).

В моей восьмидесятичетырехлетней жизни шале занимает место, совершенно не соответствующее своим размерам. В этой деревне я бывал еще до того, как его построил, мальчишкой — сперва катался здесь на лыжах, деревянных, из пекана или ясеня, с чехлами из тюленьей кожи для подъема и кожаными креплениями для спуска, а потом приезжал сюда и летом — гулять в горах с моим мудрым оксфордским наставником Вивианом Грином, который позже сделался ректором Линкольн-колледжа и стал прототипом Джорджа Смайли — в духовном отношении.

Смайли, как Вивиан, обожал свои Швейцарские Альпы, или, опять же как Вивиан, находил отраду в созерцании природы, или, как сам я, всю жизнь сражался с немецкой музой, — и это не просто совпадение.

Я ворчал на своего беспутного папашу Ронни — Вивиан выслушивал, а когда Ронни в очередной раз обанкротился, как-то особенно эффектно, нужную сумму раздобыл опять же Вивиан и вытащил меня обратно в колледж — доучиваться.

В Берне я познакомился с наследником одного из старейших семейств, владевших в Оберланде отелями. И если бы впоследствии он не использовал свое влияние, шале мне и во все строить не позволили бы, поскольку тогда, как и сейчас, ни один иностранец не мог приобрести в этой деревне и квадратного метра земли.

Там же, в Берне я начал сотрудничать с британской разведкой — делал первые, детские шаги на этом поприще, донося неизвестно что неизвестно кому. В последние дни я часто размышляю между делом, на что была бы похожа моя жизнь, если б я не удрал тогда из школы или удрал бы в каком-нибудь другом направлении. Только сейчас понимаю: все случившееся со мной потом было следствием импульсивного юношеского решения — бежать из Англии, выбрав самый скорый путь из возможных, чтоб стать приемным сыном немецкой музы.

Не то чтобы в школе у меня не ладилось, напротив: я был капитаном всяческих команд, победителем школьных соревнований, потенциальным золотым мальчиком. И сбежал я спокой-

но. Без шума, без криков. Просто сказал: “Отец, делай со мной что хочешь, но я не вернусь”. Очень может быть, что во всех своих бедах я винил школу, а заодно и Англию, тогда как на самом-то деле мне хотелось любой ценой освободиться из-под власти отца, только едва ли я мог ему это сказать. С тех пор, конечно, мне уже приходилось наблюдать, как мои собственные дети проделывали то же самое, правда, изящнее и без лишней суматохи.

Но все это не дает ответа на главный вопрос: как развивалась бы моя жизнь при иных обстоятельствах? Не оказался я в Берне, завербовали бы меня, юношу, в британскую разведку в качестве мальчика на побегушках, который делает, как у нас говорили, “все понемножку”? Тогда я не прочел еще “Эшендена” Моэма, зато, разумеется, прочел “Кима” Киплинга и энное количество шовинистических приключенческих романов Джорджа Альфреда Хенти и ему подобных. Дорнфорд Йейтс, Джон Бакен и Райдер Хаггард навредить не могли.

Само собой, года четыре после окончания войны я был главным патриотом Британии в Северном полушарии. В подготовительной школе мы, мальчишки, научились вычислять немецких шпионов в своих рядах, и я считался одним из лучших агентов нашей контрразведки. В частной школе все мы были пламенными ура-патриотами. Дважды в неделю занимались “строевой” — то есть военной подготовкой в полном обмундировании. Молодые учителя вернулись с войны загорелыми и на строевой щеголяли орденоскими ленточками. Что делал на войне мой учитель немецкого, оставалось загадкой, но что-то ужасно интересное. Наш консультант по профориентации готовил нас к пожизненной службе на отдаленных форпостах империи. Аббатство в центре нашего городка украшали полковые знамена, разорванные пулями в лоскуты в битвах колониальных войн в Индии, Южной Африке и Судане — лоскуты, которым заботливые женские руки, нашив их на сетку, возвратили славу.

Совсем неудивительно поэтому, что, услышав Великий Зов — из уст дамы тридцати с чем-то лет по имени Венди, со-

трудницы визового отдела британского посольства в Берне, больше похожей на домохозяйку, — семнадцатилетний английский школьник, решивший прыгнуть выше головы и поступить в иностранный университет, встал по стойке смирно и сказал: “К вашим услугам, мэм!”

Сложнее объяснить, почему я увлекся немецкой литературой — всей без разбора — во времена, когда для многих людей слово “немецкий” было синонимом абсолютного зла. А между тем это увлечение, как и побег в Берн, определило весь мой дальнейший жизненный путь. Иначе я, конечно, не приехал бы в Германию в 1949 году по настоянию моего учителя немецкого — еврея-беженца, никогда не увидел бы города Рура, сровненные с землей, не подышал бы на старом вермахтовском матрасе в немецком полевом госпитале, устроенном в берлинском метро; не побывал бы в концлагерях Дахау и Берген-Бельзен, в бараках, откуда еще не выветрился смрад, чтобы затем вернуться в спокойный, безмятежный Берн к моим Томасу Манну и Герману Гессе. И конечно, меня не отправили бы служить в оккупированную Австрию и выполнять там разведзадачи, я не изучал бы немецкий язык и литературу в Оксфорде, а после не преподавал бы и то и другое в Йтоне, не был бы назначен в британское посольство в Бонне под видом младшего дипломата и не писал бы романы на немецкие сюжеты.

Теперь мне вполне очевидны последствия этого раннего увлечения всем германским. Благодаря ему у меня появился свой участок эклектического пространства; оно подпитывало мой неизлечимый романтизм и склонность к лирике; оно внушило мне представление о том, что на пути от колыбели к могиле человек постоянно учится — идея едва ли оригинальная, а пожалуй, и спорная, ну и пусть. Познакомившись с драмами Гёте, Ленца, Шиллера, Клейста и Бюхнера, я обнаружил, что мне в равной степени близки и их классический аскетизм, и невротическая избыточность. Хитрость в том, думал я, чтобы замаскировать одно другим.



Моему шале уже почти полвека. Дети, пока не выросли, приезжали сюда каждую зиму кататься на лыжах, и здесь мы провели лучшие дни вместе. Бывало, и весной приезжали. Сюда же, кажется, зимой 1967-го мы удалились на месяц с Сидни Поллаком (который снял “Тутси”, “Из Африки” и мое любимое — “Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?”), чтобы обстоятельно поработать над сценарием фильма по моему роману “В одном немецком городке”, и презабавно провели время.

Снег той зимой был отменный. Сидни никогда не катался на лыжах, никогда не бывал в Швейцарии. И просто не мог спокойно смотреть на довольных лыжников, с беспечным видом мчавшихся мимо нашего балкона. Он должен был стать одним из них, притом немедленно. Сидни хотел, чтобы я его научил, но я-то, слава богу, вместо этого позвал Мартина Эппа — лыжного инструктора, легендарного горного проводника и одного из тех немногих, кто совершил одиночное восхождение на Эйгер по северной стене.

Первоклассный режиссер из Саут-Бенда в Индиане и первоклассный альпинист из Арозы сразу поладили. Сидни ничего не делал вполсилы. За несколько дней он стал профессиональным лыжником. А еще загорелся идеей снять о Мартине Эппе фильм и вскоре уже больше думал о нем, чем об экранизации моего романа. Эйгер выступит в роли Судьбы. Я напишу сценарий, Мартин выступит в роли самого себя, а Сидни, пристегнутый где-нибудь на склоне Эйгера, будет его снимать. Он позвонил своему агенту и рассказал про Мартина. Позвонил своему психоаналитику и рассказал про Мартина. А снег по-прежнему был отличный и делал свое дело — отнимал у Сидни энергию. Мы решили, что работать лучше всего вечером, после ванны. Было оно лучше или нет, не знаю, только кино никто так и не снял.

Позже, к некоторому моему удивлению, Сидни на время предоставил шале Роберту Редфорду — тот готовился к съемкам

“Скоростного спуска” и хотел изучить местность. Увы, с ним я так и не встретился, но после на несколько лет за мной в деревне закрепилась слава друга Роберта Редфорда.



Это реальные истории, я рассказываю их по памяти, и тут вы вправе задать вопрос: что есть правда и что есть память для писателя, жизнь которого, деликатно выражаясь, клонится к закату? Для юриста правда — это голые факты. Можно ли в принципе такие факты отыскать — другой вопрос. Для писателя факт — это сырье, не руководитель, но инструмент, и дело писателя — сделать так, чтобы он заиграл. Истинная правда, если только она есть, заключена не в фактах, а в нюансах.

Существует ли вообще такая вещь, как *объективная* память? Сомневаюсь. Даже если мы убеждаем себя, что беспристрастны, придерживаемся голых фактов и ничего не приукрашиваем и не опускаем в своих корыстных интересах, объективная память неуловима, как мокрый кусок мыла. По крайней мере для меня, который всю жизнь смешивал пережитое и воображаемое.

Если мне казалось, что рассказ того заслуживает, я поднимал свои газетные статьи, написанные в то время, брал оттуда цитаты, описания — потому что они записаны по свежим следам и в этом их достоинство и потому, что более поздние воспоминания уже не так остры, — например, портрет Вадима Бакатина, бывшего главы КГБ. А в других случаях я оставлял рассказ почти таким, каким написал когда-то, только кое-где подчищал или добавлял пассаж, дабы что-то прояснить или осовременить.

Я вовсе не предполагаю, что читателю хорошо знакомо мое творчество или, если уж на то пошло, вообще знакомо, поэтому по ходу буду делать пояснения. Однако смею вас заверить: я не исказил сознательно ни одного события, ни одной истории. Утаил, где нужно было, это да. Но решительно ничего не искажал, нет. А если что-то помню нетвердо, не преминул

это отметить. В недавно вышедшем моем жизнеописании парочка историй изложена вкратце, и мне, разумеется, приятно заявить на них свои права, рассказать своим голосом, вложить в них, насколько получится, свои эмоции.

Отдельные эпизоды теперь приобрели значение, которого в тот момент я им не придавал, — приобрели потому, вероятно, что главные фигуранты умерли. За свою долгую жизнь я никогда не вел дневника, сохранились только случайные путевые заметки или цитаты из невозстановимых уже бесед, относящиеся, например, к тому времени, что я провел с Ясиром Арафатом, председателем исполкома Организации освобождения Палестины, до его изгнания из Ливана, и к следующему моему неудачному визиту в его отель в Тунисе — том самом городе, где несколько военачальников Арафата, расквартированные в паре километров от него, погибли в результате налета израильских бомбардировщиков через неделю-другую после моего отъезда.

Люди, стоявшие у власти, привлекали меня именно потому, что были у власти, и потому, что я хотел понять их мотивы. Но теперь мне кажется, в их присутствии я только и делал, что кивал с умным видом, в нужный момент качал головой да раз другой пробовал шутить, чтобы разрядить обстановку. Потом только, вернувшись в свой номер и улегшись на кровать, я доставал измятый блокнот и пытался осмыслить все, что увидел и услышал.

Другие сделанные наспех записи, уцелевшие после моих путешествий, в основном принадлежат не мне лично, а вымышленным персонажам, которых я брал с собой для самозащиты, когда осмеливался выйти на поле боя. Это их точка зрения, не моя, их слова. Когда я сидел, скорчившись, в блиндаже у Меконга и впервые в жизни слышал, как пули шмякаются в илистый берег над моей головой, не моя дрожащая рука гневно строчила в грязной записной книжке, а рука моего отважного персонажа — героя-военкора Джерри Уэстерби, который работал на передовой и для которого обстрел был частью трудо-

вых будней. Я думал, что один использую такую уловку, пока не познакомился со знаменитым военным фотографом, который признался, что избавляется от страха, только когда видит происходящее через объектив фотоаппарата.

Я-то и вообще никогда не мог избавиться от страха. Но понимаю, о чем говорил этот фотограф.



Если вы удачливый писатель и рано добились успеха, как случилось у меня со “Шпионом, пришедшим с холода”, вся оставшаяся жизнь разделится на до и после — до и после грехопадения. Обращаешься к книгам, написанным до того, как луч прожектора выхватил тебя из темноты, и они выглядят невинными творениями, а книги, написанные после, в минуту уныния кажутся попыткой подсудимого оправдаться. “Слишком старался!” — восклицают критики. Никогда не думал, что стараюсь слишком. Рассуждал так: раз добился успеха, то обязан делать все, на что только способен, и в общем-то делал, а уж хорошо или плохо делал — не знаю.

К тому же я люблю писать. Люблю заниматься тем, чем сейчас занимаюсь: сидеть строчить за обшарпанным письменным столом, как какой-нибудь подпольный автор, ранним майским утром, когда небо затянуто черными тучами, а дождь, пришедший с гор, заливаает стекла и нет никаких причин брать зонт и тащиться на станцию, ведь международная “Нью-Йорк таймс” придет только к обеду.

Люблю писать на ходу, в блокноте во время прогулки, в поезде, в кафе, а после поспешно нести свои трофеи домой и выбирать из них лучшие. Когда бываю в Хэмпстеде, прихожу на Пустошь, к своей любимой скамейке, приткнувшейся под раскидистым деревом, поодаль от остальных, сажусь на нее и строчу. Всегда пишу только от руки. Быть может, есть в этом высокомерие, но я предпочитаю следовать многовековой тра-

диции немашинного письма. Во мне погиб художник-график, которому доставляет истинное удовольствие выводить слова.

Больше всего в этом занятии — писать тексты — мне нравится его сокровенность, поэтому я не участвую в литературных фестивалях и стараюсь по возможности не давать интервью, даже если факты говорят об обратном. Иногда, обычно по ночам, я думаю, что лучше бы вообще никогда не давал интервью. Сначала выдумываешь что-то про себя, потом начинаешь верить собственным выдумкам. А это не имеет никакого отношения к самопознанию.

Когда еду куда-нибудь в поисках материала, чувствую себя более-менее защищенным, ведь настоящее имя у меня другое. Могу поселиться в отеле под этим именем и не беспокоиться, узнают его или нет, а если нет, не беспокоиться, отчего не узнали. Когда я вынужден признаваться, что не просто так расспрашиваю их о жизни, а в общем-то выуживаю информацию, люди реагируют по-разному. Один и словечка мне больше не скажет, другой сразу произведет в начальники секретной службы, а начнешь возражать — я, мол, всегда был лишь простейшей формой засекреченной жизни, — ответит, что так ведь мне и следует говорить. И продолжит потчевать меня конфиденциальной информацией — которой я не прошу, не смогу использовать да и не запомню, — ошибочно предполагая, что я передам ее Известно Кому. Пару случаев, когда мне пришлось столкнуться с такой трагикомической дилеммой, я описал.

Но большинство несчастных, которых я донимал подобными разговорами последние пятьдесят лет — а среди них менеджеры среднего звена фармацевтической индустрии и банкиры, наемники и шпионы всех мастей, — относились ко мне терпеливо и великодушно. Самыми великодушными оказались военные репортеры и иностранные корреспонденты, которые брали писателя-паразита под свое крыло, отдавая должное смелости, вовсе ему не свойственной, и позволяли ходить за ними по пятам.

Ума не приложу, как бы я совершал вылазки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток без совета и дружеского плеча Дэвида Гринуэя, весьма заслуженного корреспондента “Тайм”, “Вашингтон пост” и “Бостон глоб” в Юго-Восточной Азии. Ни одному робкому новичку, наверное, не удавалось дотянуться до такой звезды, да еще найти в ней преданного друга. Снежным утром 1975-го Дэвид сидел за завтраком здесь, в моем шале, наслаждался короткой передышкой вдали от передовой, и тут ему позвонили из вашингтонской редакции и сообщили, что осажденный Пномпень вот-вот возьмут красные кхмеры. Дороги из нашей деревни в долину нет, отсюда ходит только маленький поезд, с которого можно пересест на поезд побольше, а с того — на другой, еще больше, и этот последний уже довезет вас до аэропорта Цюриха. Дэвид моментально сменил альпийский наряд на поношенный костюм военкора — хаки и старые замшевые туфли, поцеловал на прощание свою жену и дочерей и помчался вниз с холма к станции. А я с его паспортом помчался следом.

Как известно, Гринуэй был одним из последних американских журналистов, эвакуированных вертолетом с крыши здания посольства США в Пномпене. В 1981-м мы вместе переходили мост Алленби*, соединяющий Западный берег реки Иордан с Иорданией, а я тогда подхватил дизентерию, и Гринуэй буквально на руках тащил меня через толпу нетерпеливых путешественников, ожидавших, когда их пропустят, потом добился на блокпосту — исключительно благодаря своему самообладанию, — чтобы пропустили нас, и доставил меня на другой берег.

Перечитывая отдельные эпизоды, я вижу: я то ли из эгоизма, то ли ради большего эффекта упомянул не всех действующих лиц.

Например, во время нашей встречи с русским физиком, политическим заключенным Андреем Сахаровым и его женой Еленой Боннэр в ресторане города Ленинграда (так он тогда

* Также: мост короля Хусейна.

еще назывался), проходившей под эгидой “Хьюман Райтс Вотч”, с нами за столом сидели и трое представителей этой организации и тоже вынуждены были терпеть ребячливую бесцеремонность группы липовых корреспондентов, а на самом деле сотрудников КГБ, что маршировали вокруг нас и обстреливали из допотопных фотоаппаратов, ослепляя вспышками. Надеюсь, кто-то еще из нашей компании описал где-нибудь этот исторический день.

Вспоминаю, как однажды Николас Эллиот, старинный друг и коллега двойного агента Кима Филби, со стаканчиком бренди в руке мерил шагами гостиную нашего лондонского дома, и только теперь мне приходит в голову, что там ведь вместе со мной сидела моя жена — в кресле напротив — и вместе со мной слушала будто завороженная.

А еще вспоминаю — прямо сейчас, пока пишу эти строки, тот вечер, когда Эллиот пришел к нам на ужин со своей женой Элизабет, а в гостях у нас был очень милый человек, иранец, который безупречно говорил по-английски, но имел небольшой и даже приятный речевой дефект. Когда наш иранский гость уехал, Элизабет повернулась к Николасу — глаза ее сверкали — и сказала взволнованно:

— Дорогой, ты заметил, как он заикается? Ну точно Ким!

Большую главу о моем отце Ронни я поместил в конец книги, а не в начало, потому что не хочу, чтобы он, растолкав других локтями, оказался в первых рядах, хотя он бы так и сделал. Долгое время я мучительно размышлял о нем, однако он по-прежнему остается для меня загадкой, равно как и моя мать. Рассказы в этой книге новенькие и впервые увидят свет, если не указано иное. Я менял имена, когда считал необходимым. Даже если главный фигурант умер, у него есть наследники и правопреемники, а они ведь могут и не понять юмора. Я попытался проложить через свою жизнь дорогу, соблюдая если не хронологический, то хотя бы тематический порядок, но подобно самой жизни эта дорога разрослась в нечто беспорядочное, и некоторые истории стали тем, чем и остаются

для меня по сей день: отдельными, самодостаточными сюжетами, не имевшими продолжения — во всяком случае известного мне, а рассказал я их потому, что они приобрели для меня особое значение, и потому, что они тревожат меня, или пугают, или трогают, или заставляют просыпаться среди ночи и смеяться в голос.

Некоторые описанные мной встречи по прошествии времени приобрели особый статус: они представляются мне крошечными частицами истории — истории, пойманной *in flagrante*^{*}, но так, вероятно, представляется всем пожилым людям. Когда перечитываю их от начала до конца — от фарса к трагедии и обратно, они кажутся мне чуть-чуть легкомысленными, даже не знаю почему. А может, мне кажется легкомысленной собственная жизнь. Но теперь уж с этим ничего не поделаешь.



О многом мне вообще не хотелось бы писать, и такое найдется в жизни каждого человека. У меня было две жены, обе верные и безмерно мне преданные, и я обязан выразить им обоим бесконечную благодарность и принести немало извинений. Я никогда не был образцовым мужем и отцом и вовсе не хочу таким казаться. Любовь пришла ко мне поздно, прежде я успел наделать много ошибок. Уроки этики мне преподали четверо моих сыновей, и этим я им обязан. О своей работе в британской разведке, проходившей в основном на территории Германии, не хочу ничего добавлять к сообщениям других — надо сказать, неточным, — которые можно найти в иных источниках. Здесь я связан узами рудиментарной, старомодной преданности обоим моим бывшим службам и, кроме того, обещаниями, данными мужчинам и женщинам, согласившимся со мной сотрудничать. Мы условились, что клятва хранить тайну не будет иметь

* С поличным (*лат.*).

срока действия, но распространится на поколение наших детей и дальше. Нашу работу не назовешь опасной или захватывающей, однако если ты ее выбрал, мучительное самокопание тебе обеспечено. Независимо от того, живы эти люди или умерли, обещание хранить тайну остается в силе.

Шпионаж был моей судьбой от рождения — полагаю, примерно так же, как для Сесила Скотта Форестера судьбой было море, а для Пола Скотта — Индия. Секретный мир, с которым мне довелось познакомиться, я пробую превратить в театр для другого, большого мира, где мы живем. Начинаю с воображаемого, потом подбираю факты. А затем опять возвращаюсь к воображаемому и к письменному столу, за которым сейчас сижу.

ГЛАВА 1

К своей спецслужбе относись по-людски

Я знаю, кто ты! — орет Дэнис Хили, бывший министр обороны Великобритании от лейбористской партии (дело происходит на частной вечеринке, куда нас обоих пригласили, и Дэнис пробирается ко мне от дверей и протягивает руки). — Коммунистический шпион, вот кто! Сознайся!

Я и сознаюсь, ведь в такой ситуации хорошие парни во всем сознаются. А окружающие, в том числе слегка встревоженный хозяин вечеринки, хохочут. Я тоже хохочу, потому что хороший парень и шутки понимаю не хуже других, а еще потому, что Дэнис Хили, может, и монстр лейбористской партии и политический скандалист, но еще он видный ученый, гуманист, я им восхищаюсь и к тому же он на пару стаканчиков меня опередил.

— Скотина ты, Корнуэлл! — вопит мне через всю комнату мужчина средних лет, офицер МИ-6 и мой бывший коллега, а группа вашингтонских инсайдеров тем временем собирается на дипломатический прием, организованный британским послом. — Скотина чистокровная!

Он не ожидал встретить меня здесь, но, встретив, обрадовался, ведь теперь-то может высказать все, что думает обо мне, опорочившем доброе имя нашей Службы — нашей проклятой Службы, будь она проклята! — и выставившем дураками мужчин и женщин, которые любят свою страну и не могут мне

ответить. Он стоит передо мной, набычился, кажется, готов уже на меня броситься, и если бы чья-то дипломатичная рука не придержала его, заставив отступить на шаг, на следующий день газетчики повеселились бы как следует.

Болтовня за коктейлями постепенно возобновляется. Но прежде я выясняю, какая именно книга засела у него в печенках: не “Шпион, пришедший с холода”, а последовавшая за ней “Война в Зазеркалье” — мрачная повесть о британско-польском агенте, которого послали на задание в Восточную Германию да там и бросили погибать. К несчастью, во времена, когда мы вместе работали, Восточная Германия относилась к епархии моего обвинителя. Я подумал, не рассказать ли ему про недавно ушедшего в отставку директора ЦРУ Аллена Даллеса, заявившего, что эта книга намного правдивей своей предшественницы, но побоялся еще больше распалить бывшего сослуживца.

— Мы, значит, безжалостные? Безжалостные, да к тому же профаны! Премного благодарен!

Мой разъяренный экс-коллега не одинок. Вот уже пятьдесят лет, хоть и не столь запальчиво, меня снова и снова упрекают в том же самом — это не стговор и не угроза, это рефреном звучат голоса уязвленных мужчин и женщин, полагающих, что их работа и вправду необходима.

— Зачем ты к нам цепляешься? Сам же знаешь, что у нас и как.

А иные язвят:

— Ну что, нажился на нас? Теперь, может, оставишь на время в покое?

И кто-нибудь обязательно напомнит жалобно, что Служба ведь ничем не может ответить, что перед антипропагандой она беззащитна, что ее успехам надлежит оставаться безвестными, а прославиться она может только своими провалами.

— Разумеется, мы вовсе не такие, как описывает наш общий друг, — строго сообщает за обедом Морис Олдфилд сэру Алексу Гиннессу.

Олдфилд — бывший глава британской разведки, в свое время брошенный Маргарет Тэтчер на произвол судьбы, но к мо-

менту встречи, о которой идет речь, он всего лишь старый разведчик в отставке.

— Всю жизнь мечтал познакомиться с сэром Алеком, — задушевно сообщил мне Олдфилд на своем североанглийском диалекте, когда я пригласил его на обед. — С тех пор как мы вместе в поезде из Винчестера ехали — я напротив сидел. И заговорил бы с ним тогда, да духу не хватило.

Гиннесс будет играть моего Джорджа Смайли, секретного агента, в экранизации романа “Шпион, выйди вон!”, которую снимает Би-би-си, и хочет испробовать, каково это — общаться с настоящим старым разведчиком. Но вопреки моим надеждам обед проходит не слишком гладко. За закусками Олдфилд принимается рассказывать, сколь безупречна в этическом смысле Служба, где он работал, и намекать в самой деликатной манере, что “наш юный Дэвид” опорочил ее доброе имя. Гиннессу, бывшему морскому офицеру, который, едва познакомившись с Олдфилдом, сразу обосновался в высших эшелонах разведки, остается только глубокомысленно качать головой и соглашаться. За камбалой Олдфилд развивает свое утверждение:

— Это из-за юного Дэвида и таких, как он, — объявляет Олдфилд, игнорируя меня, сидящего рядом, Гиннессу, сидящему напротив, — Службе все труднее вербовать достойных сотрудников и информаторов. Книги Дэвида отвращают людей от такой работы. Что вполне естественно.

Гиннесс в ответ прикрывает глаза и качает головой в знак сожаления, а я тем временем плачу по счету.

— Вам нужно вступить в “Атенеум”*, Дэвид, — говорит Олдфилд мягко, намекая, видимо, что “Атенеум” каким-то образом поможет мне стать лучше. — Я лично буду вас рекомендовать. Вот так. Вам ведь этого хотелось бы, правда?

А потом, когда мы втроем уже стоим на пороге ресторана, Гиннессу:

* Лондонский клуб для интеллектуальной элиты.

— Я очень рад, Алек. Признаться, даже польщен. Мы непременно побеседуем снова в самом скором времени.

— Непременно побеседуем, — воодушевленно соглашается Гиннесс, и два старых разведчика жмут друг другу руки.

Очевидно, не успев насладиться обществом нашего уходящего гостя, Гиннесс увлеченно следит, как Олдфилд — маленький, энергичный, целеустремленный джентльмен — тяжелой поступью шагает по мостовой, а затем, выставив вперед зонт, скрывается в толпе.

— Может, по рюмочке коньяку на дорожку? — предлагает Гиннесс и, едва мы успеваем снова сесть за стол, начинает допрос:

— Эти безвкусные запонки. Что, все наши разведчики такие носят?

Нет, Алек, наверное, Морису просто нравятся безвкусные запонки.

— А кричащие рыжие ботинки из замши на каучуковой подошве? Для того чтобы ходить бесшумно?

Наверное, просто для удобства, Алек. Вообще-то каучуковая подошва скрипит.

— И вот еще что мне скажите. — Он хватает пустой стакан, наклоняет и постукивает по нему кончиком пухлого пальца. — Я видел, когда делают так. (Сэр Алек разыгрывает маленький спектакль — пристально и задумчиво глядит в стакан, продолжая по нему постукивать.) — Видел, когда делают так. (Теперь он водит пальцем по краю бокала все с тем же отрешенным видом.) — Но чтобы делали вот так, вижу впервые. (Он засовывает палец в стакан и проводит по внутренней стенке.) — Как вы думаете, Олдфилд искал следы яда?

Он это серьезно? Сидящий внутри Гиннесса ребенок серьезен как никогда. Я намекаю, что Олдфилд, получается, искал следы яда, который уже выпил. Но Алек предпочитает не обращать внимания на мои слова.

Замшевые ботинки Олдфилда, на каучуковой подошве или какой другой, и сложенный зонт, который он выставял вперед, прощупывая перед собой дорогу, вошли в историю индустрии

развлечений, став неотъемлемыми атрибутами гиннессовского Джорджа Смайли — старого, вечно спешащего разведчика. Насчет запонок теперь уже не знаю, но нашему режиссеру, помню, они казались слегка карикатурными, и он уговаривал Гиннесса поменять их на что-нибудь поскромнее.

Другое последствие нашего совместного обеда оказалось менее приятным, хотя и более продуктивным в художественном плане. Неприязнь, которую Олдфилд питал к моему творчеству — да и ко мне лично, полагаю, — пустила глубокие корни в сердце актера Гиннесса, и он не погнушался напомнить мне об этом, когда почувствовал необходимость показать растущее в душе Джорджа Смайли чувство стыда, намекая, что такое же чувство должен испытывать и я сам.



Вот уже сто лет, а то и больше наших британских разведчиков и строптивых авторов шпионских романов связывают драматические, а порой забавные отношения — они друг друга любят и ненавидят. Как и авторам, разведчикам нужен имидж, романтический образ, однако терпеть насмешки они не намерены — ни от Эрскина Чайлдерса и Уильяма Ле Ке, ни от Эдварда Филлипса Оппенгейма, которые возбудили такую антигерманскую истерию, что вполне могут причислить себя к тем, кто прежде всего способствовал появлению на свет постоянно действующей службы безопасности. До этого одни джентльмены якобы не читали писем других джентльменов, пусть даже на самом деле многие джентльмены очень даже читали. В годы Первой мировой зазвучало имя Сомерсета Моэма — писателя и агента британской разведки — не лучшего, согласно большинству оценок. Когда Уинстон Черчилль заявил, что, написав “Эшендена”, Моэм нарушил закон о государственной тайне*, и выразил не-

* Источник: “Секретная служба” (*Secret Service*) Кристофера Эндрю, вышедшая в 1985 году в издательстве Уильяма Хейнемана (*Прим. автора*).

удовольствие по этому поводу, тот, опасаясь уже готового разразиться гомосексуального скандала, сжег 14 неопубликованных рассказов и отложил публикацию остальных до 1928 года.

Писателя и биографа Комптона Маккензи, шотландского националиста, запугать было не так просто. Во время Первой мировой войны его комиссовали из армии, перевели в МИ-6, и Маккензи стал начальником — компетентным, надо сказать, — британской контрразведки в сохранявшей нейтралитет Греции. Однако начальство и его приказы частенько казались ему нелепыми, и Комптон, по писательскому обыкновению, их высмеивал. В 1932-м его осудили за нарушение государственной тайны и оштрафовали на 100 фунтов стерлингов — за публикацию автобиографической книги “Греческие мемуары”, в которой Маккензи и в самом деле слишком много себе позволил. Однако эта история ничему его не научила, и через год Маккензи отомстил, опубликовав свою сатиру “Разжижение мозгов”. Я слышал, что в досье Маккензи в МИ-5 имеется среди прочего набранное огромным шрифтом письмо, адресованное генеральному директору службы безопасности и подписанное ручкой с зелеными чернилами, которую традиционно использовал глава секретной службы.

“Хуже всего, — пишет он своему собрату по оружию на другой стороне Сент-Джеймского парка, — что Маккензи раскрыл настоящие шифры, используемые сотрудниками секретной службы в переписке^{*}, а некоторые из них используются до сих пор”. Довольный призрак Маккензи, наверное, потирал руки.

Но самый смелый писатель-перебежчик из МИ-6, само собой, Грэм Грин — я, правда, не знаю, догадывался ли он, как близок был к тому, чтобы предстать перед судом Олд-Бейли^{**} следом за Маккензи. Одно из самых заветных моих воспоминаний, относящееся к концу 50-х годов, — как мы встретились

* Письма эти обычно начинались с трехбуквенного шифра, обозначающего подразделение МИ-6, затем следовал номер, указывавший на сотрудника подразделения (*Прим. автора*).

** Центральный уголовный суд в Лондоне.

за чашечкой кофе в первоклассном буфете штаб-квартиры секретной службы с одним из юристов МИ-5. Он был добрый малый, курил трубку и походил скорее на семейного стряпчего, чем на чиновника, но в то утро выглядел весьма встревоженным. К этому юристу на стол попал сигнальный экземпляр “Нашего человека в Гаване”, и он уже дочитал роман до середины. Когда я сказал, что ему повезло и я ему завидую, он вздохнул и покачал головой. Этого Грина, говорит, должны судить. Он использовал информацию, которой владел, будучи в военное время офицером МИ-6, и в точности описал, как глава резидентуры в британском посольстве контактирует с полевым агентом. Грина следовало бы посадить в тюрьму.

— И главное, книга хорошая, — сетовал он. — Чертовски хорошая книга. Вот ведь в чем беда.

Я шерстил газеты — искал новость об аресте Грина, но он гулял себе на свободе. Может, тузы МИ-5 подумали и решили, что смеяться тут лучше, чем плакать. За этот акт милосердия Грин отблагодарил их через двадцать лет, изобразив в своем “Человеческом факторе” уже не просто болванами, а убийцами. Но предупредительный выстрел МИ-6, видимо, все же сделала. В предисловии к “Человеческому фактору” Грин осмотрительно уверяет нас, что закона о государственной тайне не нарушал. Если сможете раздобыть один из ранних экземпляров “Нашего человека в Гаване”, найдете там такое же заявление об отказе от ответственности.

История, однако, показывает, что наши грехи в конце концов прощены. Маккензи окончил свои дни рыцарем, Грин — кавалером ордена “За заслуги”.

— Сэр, в вашем новом романе один человек говорит о главном герое, что он не стал бы предателем, если б умел писать. Скажите, пожалуйста, кем бы стали *вы*, если бы не умели писать? — спрашивает меня серьезный американский журналист.

Размышляя, как бы поосторожней ответить на этот опасный вопрос, я думаю одновременно, а не должны ли, если уж на то пошло, наши секретные службы быть благодарны пи-

сателям-перебежчикам? По сравнению с адом крошечным, который мы могли бы устроить другим способом, наши сочинения безобидны, как игра в кубики. Бедные шпионы, которым теперь не дают покоя, наверное, думают, что уж лучше бы Эдвард Сноуден написал роман.



Так что я должен был ответить тогда, на дипломатической вечеринке, своему взбешенному экс-коллеге, который еще чуть-чуть и уложил бы меня на пол? Без толку напоминать, что в некоторых книгах я изобразил британское разведуправление более компетентной организацией, чем мне когда-либо приходилось видеть на самом деле. Или что один из самых высокопоставленных его офицеров так отозвался о “Шпионе, пришедшем с холода”: “За всю историю это, черт возьми, единственная удачная операция с двойным агентом”. Или, что, описывая в романе, так его рассердившем, ушедшие в прошлое военные игры обособленного британского ведомства, я, вероятно, преследовал несколько более серьезные цели, нежели грубо оскорбить его Службу. И упаси меня бог, вздумай я утверждать, что, если уж писатель взялся за такое нелегкое дело — изучать характер нации, может, ему как раз следует обратить внимание на национальные спецслужбы. Я б и двух слов не успел сказать, как уже лежал бы на полу.

А насчет того, что Служба не может мне ответить, я, наверное, так скажу, и вряд ли ошибусь: ни в одном другом западном государстве пресса так не нянчится с разведчиками, как у нас. Наша система цензуры — добровольной ли или предписанной туманными и слишком суровыми законами, — наше умение обзаводиться друзьями и коллективная британская покорность тотальному надзору, который обеспечивают двусмысленные требования законодательства, — наверное, предмет зависти шпионов всех стран свободного и несвободного мира.